

Никита ПОКРОВСКИЙ*

РАННИЙ ВЕЧЕР НА УТРЕННИХ ХОЛМАХ, ГОД 1990-й

(Предельно субъективные заметки о Роберте Мертоне)

Учебный сезон 1989-1990 годов мне довелось проводить в Северной Каролине. Поверьте, это далеко не худшее место на Земле, особенно весной, когда все видимое пространство в одночасье покрывается цветами невиданной красоты. Даже самые неприметные и кривые сучья, «палки», как я их называл, вдруг превращаются в неповторимые цветущие образчики искусства икебаны. Думаю, что для нормального человека достаточно один раз в жизни увидеть это, ибо от ежегодного созерцания сей картины может развиться опасная изнеженность духа и мысли тоже.

Оказывается, Мертон жив...

Там, в Северной Каролине, в расположении Национального гуманитарного центра США тихо и неприметно текла моя научная деятельность на ниве истории американской социальной философии и социологии. Несмотря на то, что Национальный гуманитарный центр даже чисто географически находится на полпути между близлежащими университетскими гигантами – Дюкским университетом и Университетом Северной Каролины в Чепел Хилле – оба упомянутых учебных заведения, видимо, по причине присущего им снобизма проявляют мало интереса к работающим в НГЦ сорока отобранным со всех США и за границей гуманитариям и социальным исследователям.

Между тем мне повезло. Случайно представленный на одном из малозначимых общественных мероприятий Эдварду Тирикьяну, профессору социологии Дюкского университета, я вскоре и как-то незаметно для себя стал не только часто и подолгу общаться с этим выдающимся социологом, но превратился в своего рода ассистента «Эда» Тирикьяна, посещающего все его занятия со студентами и аспирантами, а во время его частых отъездов по академическим делам, замещающего его в преподавании.

В начале февраля, а это уже близкое начало весны в тех краях, я вскользь упомянул Тирикьяну, что собираюсь в Нью-Йорк на День св.Валентина – один из самых любимых и уважаемых праздников в Америке. Поездка моя, к сожалению, никакого отношения к Дню св.Валентина не имела, но как бы совпала с ним по чистой случайности.

Стоило Эду Тирикьяну услышать о моем вояже в Нью-Йорк, как мысль его стала активно работать. Продолжая прежде начатый разговор со мной, он вошел в «параллельный» слой мышления, делая какие-то свои мнемонические вычисления.

«Вам надо повидать в Нью-Йорке одного единственного человека, Боба Мертона», – неожиданно и безо всякой связи с контекстом нашего разговора «выдал» Тирикьян итог параллельных калькуляций.

Все это прозвучало для меня несколько неожиданно. Трудно было на слух воспринять имя Мертона – «Боб». Как-никак, великого классика мы здесь, в России, привыкли именовать полным именем. Кроме того, я понятия не имел, что он живет в Нью-Йорке, и, если честно, вообще не знал, жив ли он – настолько он был канонизирован нашими историками социологии, а это обычно, согласно доброй русской традиции, происходит с теми, кто уже давно почил в бозе.

Как бы то ни было все оказалось иначе. И Эд Тирикьян, сам, можно сказать, живой классик или кандидат на этот «пост», вызвался написать рекомендательное письмо или совершить звонок Мертону. Тут же я узнал и то, что оба, Мертон и Тирикьян, учились в

* Покровский Никита Сергеевич – д. социол. н., профессор, зав. Кафедрой общей социологии ГУ-ВШЭ, президент Сообщества профессиональных социологов.

© Центр фундаментальной социологии, 2003

© Покровский Н.Е., 2003

Гарвардском университете, хотя и в разное время, у Питирима Сорокина. А надо сказать, что все ученики Сорокина, вне зависимости от их дальнейшей судьбы в социологии, сохраняют своего рода братство.

Когда пришел день паковать чемодан и ехать в аэропорт, увы, рекомендательного письма к Мертону у меня не было. Эд Тирикьян, выполняющий в своем университете массу всяческих административных функций, был унесен бюрократическим ветром, закручен в вихре событий и в итоге недостижим для простых смертных.

«Быть может, он все-таки позвонил Мертону», – утешил я себя весьма слабой надеждой. Но вспомнив внешний вид письменного стола Тирикьяна в кабинете на социологическом факультете, отказался и от этой надежды. (На этом историческом столе можно лицезреть многолетние напластования писем, оттисков статей, официальных меморандумов, черновиков, ненужных рекламных проспектов, «выдерок» из журналов и т.д. и т.п. Все это венчалось небольшим лозунгом, выгравированным на пластинке красного дерева, стоящей на единственном свободном кусочке стола и обращенном к посетителям: «Степень беспорядка на столе прямо пропорциональна гениальности того, кто сидит за столом». Что-то в этом духе.)

Невольно воскресив в памяти все это, я и засомневался в том, что звонок в Нью-Йорк был сделан. (На самом же деле он был сделан, что и предопределило в значительной мере ход дальнейших событий.)

Нью-Йорк – город странный

Нью-Йорк – город странный. Грандиозный и непродуктивный.

Почему грандиозный, разумеется, ясно. Но отчего непродуктивный?

Пытаясь понять, почему этот мегаполис не вызывает во мне прилива благоговения, я пришел к неожиданному соображению.

Проведя в сумме и в разное время изрядное число недель в этом городе, я никогда не занимался в нем продуктивной профессиональной деятельностью. Как-то не совпадал Нью-Йорк с моими научными интересами и, я бы сказал, с моими интересами вообще. Здесь не «клеились» дела. Все знакомства, возникшие в Нью-Йорке, рано или поздно (скорее, рано, чем поздно) исчерпывали себя. Моя жизнь скользила по поверхности, что никак не гармонировало с монументальной урбанистской декорацией, созданной усилиями миллионов вполне продуктивных творцов городской среды.

Зато чего хватало в «моем» Нью-Йорке, так это всякого рода инфраструктурной деятельности. Беготни по магазинам, билетным кассам «Аэрофлота», совдипучреждениям (в прежние годы, не сейчас), обязательным деловым визитам, в которых не было никакого интереса ко мне, организационных попыток добраться с багажом до отдаленного аэропорта имени Кеннеди и прочее в том же духе.

Да, конечно, были великие нью-йоркские музеи. Но во всей этой достаточно малозначимой суете представлялось крайне трудным перейти с «инфраструктурной» волны на волну восприятия нетленных произведений искусства. Поэтому с некоторых пор я стал приходить в Музей Метрополитен только для свидания с двумя-тремя картинами, с которыми у меня возникли мои собственными отношениями. Но даже эти сугубо личные свидания никак не могли уравновесить моего общего «непроникновения» в структуры местной жизни.

Впрочем, в конце концов, все это не столь уж и важно для главной темы нашего разговора.

Как бы то ни было, но в тот раз, о котором идет речь, Нью-Йорк отнюдь не стремился разрушить свой привычный образ. К тому же и февральская погода здесь вовсе не походила на цветущей февраль в Северной Каролине – холодный ветер насквозь прометал авеню и стриты, ничто не цвело по причине отсутствия растительности как таковой (Центральный парк не в счет), повсюду бросающаяся в глаза холерическая деятельность нью-йоркцев по-

прежнему рождала вопрос: «К чему все это? В чем смысл именно такой неумной активности, не ведущей в итоге ни к чему продуктивному?»

А через пару дней возник и еще один вопрос: «А что, собственно говоря, мне и дальше делать в этом городе?»

Именно в тот момент, когда эта тема и стала предметом моего внутреннего диалога с самим собой (дело происходило в до удивительности просторной и уютной квартире на Саттон-плейс, призревшей меня) взгляд мой нечаянно упал на телефонный столик и стопку телефонных справочников, лежавших на его внутренней полке. Взяв в руки пухлый том «белых страниц» (то есть справочника квартирных телефонов, в отличие от «желтых страниц» – справочника коммерческих и учрежденческих телефонов и адресов), я пролистывал его без всякой особой цели.

«Интересно, есть ли там телефон Мертона?», – подумал я, первый раз за время нынешнего путешествия в Нью-Йорк вспомнив о предполагавшейся было встрече. На соответствующей странице было обозначено не менее двух десятков самых разных Мертонов, но только один с характерными инициалами «R.K.» – Роберт Кинг.

«А что если взять и позвонить? Прямо как есть? Сейчас?»

Вообще говоря, не в моих традициях поступать таким образом, импровизировать в отношениях с людьми и, что называется, без всякого предисловия навязываться на знакомства.

Я еще полистал справочник, но потом вновь вернулся на «мертоновскую» страницу.

Короче, номер набрался как бы сам собой.

...Было десять утра. Впереди лежало не только хмурое утро, но и обещающий быть хмурым февральский день... После второго или третьего гудка трубку сняли. Ответил спокойный и уверенный мужской голос. Это был Мертон. Тот самый и никакой другой. Немало робея (отчего наружу вылез мой русский акцент, который, хочется думать, не столь очевиден при обычных обстоятельствах), я представился как «советский социолог», работающий в Национальном гуманитарном центре и проездом оказавшийся в Нью-Йорке. Кажется, я так же что-то пролепетал о готовившемся, но не состоявшемся рекомендательном письме Тирикьяна.

«Да», – сказал Мертон тем же спокойным и уверенным голосом.

В разговоре образовалась некоторая пауза. Я продолжил. «Нельзя ли предположить такую возможность, что при определенных обстоятельствах я мог бы надеяться встретить вас там и тогда, где и когда это будет вам удобно», – произнес я эту длинную фразу, которая по-русски звучит коряво и нелепо, но по-английски – в самый раз.

«Да», – ответил Мертон все с той же интонацией. Это навело меня на мысль, что это «да» своего рода форма выражения его внимания, но отнюдь не утверждения чего-либо.

На телефоне с обоих концов вновь повисла пауза. Наконец Мертон сказал все тем же невозмутимым, но вовсе не холодно-равнодушным голосом: «Как насчет шести вечера?» – «Сегодня?» – робко поинтересовался я. «Нет, все же лучше в шесть тридцать», – не отвечая на мой вопрос, уточнил он, и в конце добавил: «Да, разумеется, сегодня. Зачем же откладывать?».

Мертон продиктовал адрес и даже объяснил, как добраться к нему домой на метро, то есть на «сабвее», чтобы быть точным. При этом он уточнил: «Есть две станции "116-ая улица" на двух разных линиях. Вам нужна "116-ая улица" на той линии, что идет вверх Манхэттена вдоль Гудзона, и ни в коем случае не та, что идет через Центральный парк». Обе линии лучами расходятся со станции «59-ая улица».

Мерзкая особенность моей памяти и моего восприятия вообще состоит в том, что я фиксируюсь на первой порции информации, «пережевываю» ее, а вторая, последующая порция при этом как бы проскакивает, не закрепляясь. Ко всему прочему, надо честно признаться, я был так ошарашен моим предстоящим визитом в дом к Мертону, что удивляюсь тому, как я вообще запомнил хоть что-то из его адреса. Это и повлекло за собой, не в первый раз, некоторые следствия...

Социологическая Голгофа

Представляя себя опытным знатоком Нью-Йорка, я прикинул в уме, что со станции «59-ая улица» до Мертона я доберусь минут за сорок пять. В Манхэттене куда угодно можно добраться в среднем за сорок-сорок пять минут. Такое правило я вывел для себя.

Проведя первую часть дня в разного рода чисто нью-йоркских бессодержательных занятиях, я тем не менее мысленно планировал нашу предстоящую встречу, постоянно проигрывая сценарии того, что могло произойти и о чем могла пойти беседа.

...Слегка, но не катастрофически опаздывая, я сел в поезд сабвея и предался размышлениям о приближавшейся встрече с великим социологом XX века. Взгляд мой бесцельно бродил по лицам пассажиров, в большинстве своем возвращавшимся с работы. Картина вагона манхэттенского сабвея ровным счетом ничем не отличалась от соответствующей картины вагона московского метро. Разве что преобладали смуглые и совсем смуглые лица и народу было в вагоне поменьше, чем бывает у нас.

По мере приближения к «116-ой улице» мое раздумчивое оцепенение несколько прошло. На схеме линий сабвея, приклеенной к стенке вагона (точно так же, как и в московском метро), я вновь обнаружил, что существуют две станции «116-ая улица» на двух разных линиях. Притом одна из этих линий отклоняется как бы ближе к Гудзону, другая же «рубит» Манхэттен по вертикали снизу вверх и почти по оси симметрии.

«По какой же линии я еду?» – пронеслась в голове, быть может, первая здравая мысль. Моя темнокожая соседка, не опускаясь до общения со мной и не отвечая на мой вопрос, провела своим длинным пальцем по схеме. Из этого следовало, что, естественно, я стремил свой бег по линии, упорно уводившей меня в сторону от Мертона. Надо было принимать срочное решение, что делать дальше: либо возвращаться до исходной «59-ой улицы» и терять на этом минимум тридцать минут, либо выходить на станции «116-ая улица», где б ни была она, и идти к дому Мертона, пересекая поперек пол-Манхэттена по этой самой 116-ой улице. «Как-никак это должна быть одна и та же улица. Немного ходьбы и все решится,» – предположил я. При последнем варианте я мог бы успеть с минимальным опозданием, хотя бы и теоретически.

Когда через неожиданно пустую станцию я вышел на свет божий, то как раз этого света и не обнаружил.

Вокруг простиралось городское пространство, заполненное сравнительно невысокими четырех-пятиэтажными домами, некогда вполне респектабельными, а ныне весьма в плачевном состоянии. Вся цветовая гамма представляла собой сочетания глухого черного, темно серого и грязно-серого. Уличных огней не было видно.

Это – Гарлем.

...За всеми своими вычислениями, где выйти из сабвея, я упустил одно важное обстоятельство, а именно то, что наверху, на поверхности, город менялся по мере того, как поезд пробирался по своей линии на север Манхэттена...

Раньше много раз я проезжал здесь на машине с плотно задраенными окнами. Но городские кварталы, обозреваемые сквозь стекла автомобиля, и те же кварталы «в натуре», рассматриваемы в пешем порядке, – это весьма несхожие явления. В этом мне и предстояло убедиться на пути к Мертоу.

На тротуарах вдоль домов и на углах улиц стояли группы людей без определенного занятия или цели своей деятельности. Цвет их кожи полностью сливался с общей окраской всего пространства, и потому словно в романе «Человек-невидимка» я видел по преимуществу только одежду этих людей, но никак не их лица.

«Похоже на то, что судьба перед встречей с Мертоном дает мне иллюстрации социологии урбанистского зонирования. Но ведь я иду в гости к Мертоу, а не Роберту Парку», – подбадривал я себя юмористическими мыслями, боязливо обходя группки людей, перегораживавших тротуар и не думавших хотя бы слегка уступать мне дорогу. «Нет, это положительно их другого социологического "романа", из "Общества на перекрестках"

("Street Corner Society") Уильяма Фуга Уайта», – продолжал я свои параллели. – «Правда, у Уайта речь шла о бостонских итальянских кварталах, а здесь...»

Жители Гарлема на расстоянии по большей части не замечали меня. Но стоило мне приблизиться, как в мою сторону бросался один, но весьма выразительный взгляд. Его нельзя было назвать оценивающим, это был наказующий взгляд.

Через десяток минут несколько освоившись и оглядевшись в Гарлеме, я осмелел несказанно и даже задал некоей личности, бесцельно прислонившейся к парапету дома, вопрос, правильно ли я держу направление. Как и в метро, «личность» не удостоила меня устным ответом, а просто махнула рукой в нужном мне направлении, не глядя ни на меня, ни в указываемую сторону. 116-я улица стрелой углублялась в недра Гарлема, сходясь всеми своими прямыми линиями на горизонте. Впрочем, перспектива улицы терялась в февральской вечерней мгле.

Минуты на электронном циферблате моих часов предательски «соскакивали». Я прибавил шаг, и поперечные улицы замелькали с кинематографической быстротой.

Наконец, из темноты появился и обозначился конец 116-ой. Она упиралась в небольшой парк, а за ним высоко к небу вздымалась гранитная гора.

Это был тупик. Моей сообразительности хватило для того, чтобы сообразить: 116-ая разрубалась пополам парком и горой, а дальше она продолжалась, но по «ту сторону».

Ни одного намека на обходной путь, боковую улочку либо тропинку я не мог разглядеть.

На подступах к парку под нависающими кустами бездеятельно сидело несколько десятков человек. За их спинами простиралась густые заросли и вздымалась отвесная стена гранитной махины.

В хорошем темпе человека, опаздывающего на первую встречу с классиком социологии, я подошел к первому из них и, едва переводя дыхание, поинтересовался, как найти продолжение 116-ой улицы. «Личность» медленно подняла голову, и впервые за весь вечер в Гарлеме я увидел белый цвет – цвет глазных белков. Ответа между тем не последовало.

Тогда я пошел вдоль всей этой сидящей компании, повторяя как автоответчик одну и ту же фразу: «Ребята, где тут можно через гору перебраться на ту сторону 116-ой?».

Одна «личность» среагировала: «Это не гора, а Утренние Холмы (Morning Heights)».

Начало диалогу было положено. Другая «личность» вяло поднялась на ноги и, отряхнув сор с брюк, и так весьма нечистых, произнесла:

– Пойдем. Покажу, как перебраться на «их» сторону.

– Да нет, не утруждайтесь, – залепетал я. – Вы лучше на словах. Я и так пойму.

– Пойдем, пойдем. Так не найдешь. И мой добровольный гарлемский чичероне, углубился в темень кустов. Не будучи человеком религиозным, я все же в мольбе своей вспомнил мадонну и в полнейшем отчаянии шагнул за проводником.

Меня полностью поглотила могильная темнота. И сырость тоже.

Под ногами шуршала много лет не убиравшаяся листва и столь же многолетний мусор. Чем ближе к скале, то есть «Утренним Холмам», тем гуще становились заросли. Присутствие проводника угадывалось лишь по звуку тяжело опускаемых ног, загребавших листья, и трескучему кашлю, то и дело доносившемуся до меня.

«Все это мало похоже на реальность», – подумалось мне. – «Прямо Тарковский какой-то». Но, увы, это была самая настоящая реальность, реальнее которой не бывает.

– Вот здесь. Все. Дальше я не пойду, – «личность» вплотную приблизилась ко мне.

Я невольно посмотрел себе под ноги и вокруг, ища глазами входа в подземный тоннель или что-то в этом роде.

– Не туда смотришь. Тут лестница наверх имеется. И действительно, прямо от ближайшего куста и скрытая другими деревьями по скале вверх простиралась несколькими свободными пролетами довольно шикарная парковая лестница. На ее пролетных площадках были укреплены изящные фонари со стеклянными колпаками, впрочем, разбитыми и потому

щенившимися стеклянными зубцами-огрызками. Ступеньки были полностью засыпаны пожухлой листвой и только лишь угадывались под ней.

Но хуже всего было другое. Красивая и капитально спроектированная лестница на всех своих пролетах перекрывалась поперек высокими сетками, делавшими любое сквозное движение вверх или вниз совершенно невозможным.

– Не бойся, – «личность» уловила мой немой вопрос. – Там везде лазы есть.

– Лазы?, – не сразу понял я и посмотрел на свои парадные костюм и плащ, еще относительно чистые ботинки и аккуратный атташе-кейс с золочеными замочками.

Проводник ничего не ответил и растворился во мгле. Я двинулся вверх. Однако и в самом деле в первой же сетке, к которой я приблизился, имелся большой разрыв. Без труда вспомнив весь свой богатый московский опыт, я с легкостью преодолел преграду. За ней покорились и все остальные.

Парк внизу все отдалялся, а заветная вершина Утренних Холмов приближалась.

Но это была даже не столько вершина, сколько гребень крепостной стены. Срез холма обрамлялся мощнейшей стеной с зубцами и, если мне не изменяет память, бойницами, обращенными в сторону Гарлема. «Это уже в духе социологии Карла Маркса. Как бы тут порадовался на моем месте корреспондент "Правды" или очеркист из "Коммуниста". Два мира – две системы! – вспомнил я любимые штампы отечественных журналистов. – «Воистину сама жизнь рождает больше символов, чем любая, даже самая изощренная фантазия».

За крепостной стеной начинался другой город и начиналась другая жизнь.

Здесь господствовали яркий свет и эстетическое великолепие. Прекрасные элитарные дома напоминали голливудские декорации. Но без труда можно было обнаружить, что это вовсе не фанерные декорации, а самые настоящие дома и что там большими, почти витринными окнами и пастельного цвета гардинами, подсвеченными изнутри мягко льющим из глубин квартир светом, живут всамделишные люди. И хотя ни одного из них не было видно, но шикарные лимузины, ни один не хуже «бьюика» «Парк-авеню», еще хранили тепло недавно заглушенных двигателей.

На табличке, прикрепленной к стене углового дома, значилось: «116-ая улица».

Мои часы «выбросили» циферки «6:28».

116-ая улица, ставшая мне после всех мучений почти что родной, «врезалась» в территорию Колумбийского университета и к моему изумлению вынесла меня не куда-нибудь, а прямо на центральную площадь университета с его всемирно известной статуей сидящей «Альма Матер» и зданием библиотеки.

Но архитектурные красоты уже не волновали меня. Быстро пронесаясь по «колумбийке», я по все той же 116-ой пересек Бродвей и, не чая под собой ног, оказался на набережной Гудзона – Ривер-сайд Драйв.

Дом Мертоня отыскался весьма быстро. Как выяснилось позже, в этом и близлежащих домах по преимуществу живут профессора Колумбийского университета. Что-то вроде наших профессорских апартаментов в Центральном здании МГУ и домов на Ломоносовском проспекте.

Консьерж без лишних церемоний пустил меня в лифт. И через минуту я уже нажимал кнопку звонка.

За дверью

Открыл Мертон.

Я никогда не видел фотографий Мертоня, но то, что это был он, не вызывало никаких сомнений. Выше среднего роста, подтянутый человек с исполненной исключительного достоинства осанкой и чисто англо-саксонской внешностью. Судя по справочникам, Мертону вот-вот должно было исполниться восемьдесят лет. Не хочется говорить штампами, но по первому впечатлению он выглядел лет на двадцать моложе. Впрочем, не это главное.

На меня смотрели удивительно внимательные, как бы испытывающие темные глаза. Взгляд Мертона был обращен к вам, и вы его положительно интересовали – и в данную минуту и вообще. Основатель функционализма, делающего акцент на функциональной подоплеке общения и взаимодействия людей, казалось, видел в человеке несравненно больше, чем совокупность функций.

Это была воплощенная любознательность по отношению к человеку, столь редкая, можно сказать, реликтовая в современной Америке.

...В небольшой прихожей, совершенно московской и по своим размерам и по своей обстановке, я взгромоздил свой плащ на завешенную одеждой вешалку. В глубине опять же смотревшейся вполне по-московски квартиры, сквозь открытые двери комнаты была видна молодая женщина, работавшая за компьютером. Она лишь слегка взглянула в мою сторону, не то кивнув, не то просто повернувшись к рукописи, лежавшей на столе. Мертон не представил ее. На всякий случай я вежливо ответил.

Мертон спокойным широким жестом пригласил меня в свой кабинет.

Это была маленькая комната, метров 14, достаточно аккуратная, но вполне рабочего вида.

Усадив меня в гостевое кресло, направо от двери, Мертон сел в свое стоявшее у письменного стола рабочее кресло, слегка развернув его в мою сторону.

На столе красовался последней серии компьютер «Макинтош». Его непревзойденный яркости жемчужно-белый экран светился набранным текстом. В ходе нашей беседы Мертон время от времени поглаживал клавиатуру, как бы убеждаясь на ощупь, что «Макинтош» жив и здоров. Так «Макинтош» и стал третьим немым участником разговора.

Не успел Мертон сесть, как вновь поднялся. «Вы любите виски?», – спросил он несколько неожиданно. Виски я не люблю, да и после пробежки по Гарлему и восхождения на Утренние Холмы меня как-то не очень тянуло к алкоголю. От усталости и возбуждения могло слегка ударить в голову даже от одного глотка. А так хотелось выглядеть молодцом в глазах классика!

Я отказался. Мертон между тем налил и себе и мне. И свою рюмочку не без жизнелюбивого удовольствия позднее выпил.

– Ну расскажите, чем вы у нас занимаетесь. Вы ведь из Москвы? – начал он беседу вежливым вопросом.

Я попытался было уйти от обсуждения моей персоны, ибо это казалось мне не очень скромным, но Мертон вернул меня к начатой теме. Пришлось рассказать и о Национальном гуманитарном центре, и об открытии в Московском университете социологического факультета, к которому я как бы имею служебное отношение. Тут Мертон вспомнил свое путешествие в Советский Союз и встречи с нашими тогдашними академиками и социологическими супер-боссами Федосеевым и Румянцевым. (Позднее Мертон дал мне репринт своей статьи-отчета о той своей поездке. Читая ее, я поражался с каждой страницей, как совершенно «зарубежный» нашим реалиям американский социолог за какие-нибудь десять дней прекрасно разобрался в том, кто есть кто и что есть что в советской социологии того времени.)

Все эти свои воспоминания о давнишнем путешествии и вопросы обо мне Мертон нацеливал удивительно точно, сам говорил мало и словно «извлекал» из собеседника лаконичную и «заостренную» информацию.

– И все же, что вы сами делаете в социологии? – настаивал Мертон. Готовясь к нашей встрече и планируя ее издалека, я испытывал некоторое неудобство от того, что обладаю не социологическим, а философским образованием и что мои основные публикации скорее относятся к истории социальной философии, а не социологии. Мне представлялось, что такой классик, как Мертон, узнав об этом, слегка поморщится и потеряет ко мне остатки своего интереса. Немного подумав, я честно и признался ему в своих сомнениях и в своей социологической неполноценности. На это Мертон спокойно и внимательно глядя на меня сказал:

– Вы не правы. Никогда не стремитесь ограничивать область социологии. Она – гостеприимная дисциплина. В сущности, каждый специалист может стать социологом, если его интересует то, как область знания или умения «преломляется» с социальной ситуации.

Весьма ободренный и даже воодушевленный этим замечанием, я принялся извлекать из чемоданчика свои книжки и передавать их Мертону. Он внимательно и аккуратно разглядывал их. Посетовал, что не знает русского языка. «Хотя моя дочь вроде бы читает по-русски. Она переведет мне оглавления ваших книг». Углубился в изучение библиографий. (Как я тут пожалел, что несколько небрежно подходил к этой части своих работ, не обновляя их перед подписанием рукописи к печати.) Пообещал прочитать мою книжку о Торо, к счастью, изданную и на английском.

– Ну а чем вы занимаетесь сейчас? – прозвучал еще один настойчивый вопрос Мертона.

Уже вполне осмелевший, я принялся излагать ему структуру и концепцию своей докторской диссертации по проблемам социальной философии и социологии одиночества. Мертон явно оживился. Не прерывая, он еще более внимательно «прожигал» меня своими темными глазами. Подняв указательный палец руки, спокойно лежавший на подлокотнике кресла, Мертон обозначил паузу в моем монологе.

– Так ваша работа об одиночестве или отчуждении?

– Именно об одиночестве, – вполне определенно заявил я.

– Прекрасно. Прекрасно, – как бы с облегчением сказал он.

– Я вообще не понимаю, как можно говорить о социологии отчуждения. Что это такое? Никак не возьму в толк. И если бы вы писали об отчуждении, то это была бы очередная, сто первая и никому не нужная работа на эту тему. Вот одиночество – это реальный, осязаемый предмет.

Как я возрадовался в тот момент, что и в самом деле ушел в свое время от концепции отчуждения, хотя и не был столь же однозначно уверен в ее бессмысленности подобно Мертону.

Мертон принялся диктовать мне на память книги и статьи, а также имена социологов, с которыми мне, по его мнению, следовало бы в первую очередь познакомиться. Все это я аккуратно записывал в блокноте, разложенном на коленях.

Тема, связанная с одиночеством, плавно перешла в другую. Я поинтересовался, кто был изображен на добрых двух десятках окантованных фотографий, висевших на стене напротив Мертона.

Первым Мертон указал на Питирима Сорокина. Потом последовали имена Парсонса, Редклифф-Брауна, Лазарсфельда и других классиков социологии и истории науки, с каждым из которых Мертона связывали особо дружеские отношения. Здесь, винюсь, мне изменила элементарная сообразительность. Вместо того, чтобы тут же записать этот рассказ Мертона, я, как дурак, кивал головой и судорожно вспоминал, что я знаю о каждом из друзей Мертона, дабы не сказануть что-нибудь невпопад. Как бы сейчас пригодились эти записи! Но их нет. И остается лишь надеяться, что, быть может, когда-нибудь мне еще удастся побывать в этом кабинете...

Окончив свой обзор фотографий на стене, Мертон повел разговор об иных вещах. А именно о двух огромных программах, инициатором которых он был. О Центре поведенческих наук в Пало-Альто в Калифорнии и Фонде Рассела Сейджа в Нью-Йорке.

Обе эти научные организации на конкурсной основе принимают обществоведов на срок до одного года и предоставляют им все условия для завершения той или иной научной программы или рукописи. Тут же Мертон поинтересовался, есть ли сейчас в Союзе интересные социологи. Я ответил, что, наверное, есть. «А вы можете дать список их имен и очень краткие характеристики, мол чем занимаются, чем известны?» С этим для меня было сложнее. Но я пообещал сделать этот список. (И позднее, действительно, не без труда набрал десяток имен и переслал их Мертону.)

Как сейчас понимаю, просьба Мертона, немного странная на первый взгляд, заключала в себе определенный смысл. Когда постепенно скопится несколько таких списков, то будет легче-легкого сравнить их и выделить имена тех, кто называется лучшим бóльшим числом независимых респондентов. И тогда «авторитетные» мнения нашей Академии наук, Института социологии и университетов, по большей части весьма командно-бюрократические, наложатся на реальное мнение профессионального сообщества российских социологов. А американцы в общем и целом интересуются действительным положением дел. И в социологии тоже.

...Уже более часа мы беседовали с Мертоном. Логика требовала от меня проявления вежливости. Пора было собираться обратно.

Мертон подошел к книжной полке и совершенно неожиданно для меня стал снимать с нее один объемистый том за другим. На каждом из них он сделал трогательную надпись. Так я стал обладателем авторских экземпляров «Social Theory and Social Structure» (1969), «The Sociology of Science» (1973), «On the Shoulders of Giants» (1985) и целой пачки оттисков статей Мертона.

...А еще через пять минут я уже шел по Бродвею. Шел без всякой цели, «разбирая» в голове впечатления последнего часа. Стало по-вечернему темно, но на этом отрезке единственной диагональной улицы Нью-Йорка, граничащим с Колумбийским университетом, было светло, чисто и «книжно». Книжные магазины попадались на каждом углу и в каждом квартале. Почти автоматически я открыл дверь одного из них и без всякой идеи зашел внутрь. Побродив среди стеллажей, я набрел на социологический раздел. На одной из полок на меня смотрели корешки тех же томов, что лежали в моем чемоданчике. Это тоже был Роберт Кинг Мертон. Но отделенный от меня стеной своего научного величия и своей классичности.

Тот же Мертон, который жил по соседству, был иным – самым умным из известных мне американцев, тонким психологом и искренне сердечным человеком (редкий дар в Америке!). И потому, быть может, что-то мешает мне, как тогда, так и теперь, считать Мертона чисто американским социологом и американцем вообще. Он измеряется иными человеческими категориями.

Post Scriptum: Книги, Которые Еще Читают

Мой разговор с Мертоном был недолгим. Но есть события, значимость коих не определяется их хронологической продолжительностью. Встреча в феврале в доме на Утренних Холмах положила начало серии других встреч с Мертоном, переписке, одновременно носящей и дружеский, и теоретический, и практический характер. Именно тот характер, которым обладает сам Мертон. (Ко всему прочему Мертон один из самых аккуратных и творческих корреспондентов в частной переписке, коих мне приходилось встречать в своей жизни. На полученные письма он отвечает немедленно и с трогательной «проработкой» всех тем и вопросов, содержащихся в твоём письме.)

Еще в США, а теперь и в Москве стала складываться моя библиотека Mertoniana. Со временем она пополнилась присланными мне Мертоном копиями писем к нему Толкотта Парсонса, посвященными наследию Сорокина, целым рядом других историко-социологических документов, которые недвижно лежали в глубинах архива Мертона. Надо думать, настанет время, когда они будут опубликованы на русском языке.

По счастливому стечению обстоятельств по приезде в Москву я сразу же начал читать курс функционализма для студентов социологического факультета. «Священные» фолианты Мертона вскоре перекочевали к моим студентам, и потому сейчас не стоит удивляться, что эти книги с дарственными посвящениями автора несколько подъистрепались. Но это, хочется думать, самый благородный вид старения книг – Книг, Которые Еще Читают.

Чтение, если это настоящее чтение, не может быть пассивным. Так на свет появились уже частично реализованные нашими студентами проекты переводов, реферативных сборников и новых русских публикаций произведений Роберта Мертона.

Что ж, можно лишь надеяться на то, что, наконец, идеи этого выдающегося мыслителя, оставив в неприкосновенности мое поколение времен «стагнации», быть может, окажут свое влияние на новое поколение наших социологов эпохи «постперестройки».

Нью-Йорк, Чепел-Хилл (Сев.Каролина), Москва, 1990-1991